



А. В. ЮРЧАК

Поздний социализм и последнее советское поколение¹

<Фрагменты>

Вечное государство

<...> Позже, в середине 1990-х, многие вспоминали свое ощущение доперестроечной жизни схожим образом. Тогда они тоже воспринимали советскую систему как вечную и неизменную; ее обвал стал для большинства полной неожиданностью. Вместе с тем, многие вспоминают и другой примечательный факт: несмотря на неожиданность конца, они оказались к нему внутренне готовы. В перестройку проявился удивительный парадокс советской жизни: хотя в период существования советской системы ее невозможный обвал было невозможно представить, когда это событие произошло, оно стало быстро восприниматься как что-то вполне естественное.

С объявлением *гласности* в конце 1985 года мало кто ожидал, что последуют какие-то радикальные изменения. Новая кампания не воспринималась чем-то отличным от бесчисленных предыдущих инициатив государства; кампании приходили и уходили, а жизнь текла своим чередом. Однако довольно скоро появилось ощущение, что происходит нечто прежде невозможное. Вспоминая те годы, люди говорят о «переломе сознания» и «сильнейшем шоке», на смену которым у многих пришло воодушевление и желание вникнуть в то, что происходит.

<...>

В этих дискурсивных практиках формировались новый язык, темы, сравнения и идеи, которые довольно быстро повлекли за собой изменения не только дискурса, но и сознания. В результате к началу 1990-х годов возникло ощущение, что государственному социализму, который еще недавно казался чем-то незбылемым, возможно, приходит конец. Итальянский социолог Витторио Страда, подолгу живший в Советском Союзе до начала и во время перемен, вспоминает, что в те годы у советских людей возникло ощущение ускорившейся истории. По его словам, практически

никто из тех, с кем он сталкивался, не мог представить себе, что крушение системы может произойти так рано и с такой стремительностью. То, что произошло, было поистине потрясающе*.

Многочисленные воспоминания о перестроечных годах указывают на примечательный факт: для большинства советских людей обвал советской системы был не просто неожиданным, но и *невообразимым* — по крайней мере, до перестройки. И тем не менее уже к концу перестройки, за очень короткий срок, кризис системы стал восприниматься как нечто вполне закономерное. Возникло парадоксальное ощущение того, что многие, сами того не осознавая, были всегда готовы к этому кризису системы. Казалось, они всегда подспудно знали, что система была построена на парадоксах, что она была одновременно могучей и хрупкой, безрадостной и полной надежды, что она была навечно и, тем не менее, всегда могла обвалиться. Надо отметить, что аналогичный парадокс проявился и в исследованиях советской системы, которые велись на Западе: так называемая междисциплинарная область «советологии» была настолько не готова к неожиданному развалу Советского Союза, что начиная с начала 1990-х переживает глубокий кризис.

Этот парадоксальный опыт, ставший очевидным после конца советской системы, ставит ряд важных вопросов по поводу ее природы. Был ли этот парадокс неотъемлемой частью социалистической системы или возник постепенно? Какие внутренние системные сдвиги — на уровне идеологических высказываний, практик, смыслов, социальных отношений, конфигурации времени и пространства и так далее — привели к возникновению этого парадокса? То есть вопрос не в том, чтобы найти непосредственные причины, приведшие к краху системы, а в том, чтобы определить те парадоксальные условия, *скрытые в системе задолго до ее кризиса*, благодаря которым система, которая оказалась такой хрупкой, тем не менее, воспринималась до момента обвала как вечная и неизменная.

Для ответа на эти вопросы необходимо проанализировать период «позднего социализма» — примерно тридцать лет, с середины 1950-х до середины 1980-х годов², от начала постсталинского периода до начала перестройки, когда система все еще воспринималась как незыблемая и вечная. Поздний социализм рассматривается нами через призму личного опыта советской жизни тех, кто вырос в это время, особенно представителей последнего советского поколения (хотя и не только их). С точки зрения метода и анализа этот подход можно назвать «этнографией идеологии». Особое внимание в нем уделяется тому, как советские люди взаимодей-

* *Страда В.* О проекте Россия / Russia // Россия / Russia. 1998. № 1. С. 13.

ствовали с идеологическими дискурсами, ритуалами и смыслами, как осуществлялось на практике их членство в различных общественных, идеологических и государственных организациях, что из себя представляли языки (идеологические, официальные, неидеологические, повседневные), на которых они общались в различных контекстах, какими смыслами они наделяли эти различные способы общения, как они интерпретировали различные нормы, правила и практики советской повседневности (подчас самыми непредсказуемыми способами) и, наконец, какие типы идентичности, взаимоотношений, сообществ, интересов, этических норм и способов существования возникали в этом контексте.

Бинарный социализм

Одним из мотивов написания этой книги стало желание оспорить некоторые постулаты о природе советского социализма, которые сегодня воспроизводятся во многих академических и журналистских текстах, и на Западе, и в России. Эти постулаты сводятся к следующему: во-первых, сама идея социализма была не только ошибочна, но и безнравственна; во-вторых, именно так (как ошибочную и безнравственную) большинство советских людей воспринимало советскую систему еще *до начала* перестройки; в-третьих, крушение советской системы было предопределено именно этим отрицательным отношением к ней советских людей. Эти постулаты не обязательно формулируются в явном виде; часто они проявляются подспудно — например, в языке и терминологии, которые используются для описания разных аспектов жизни при социализме. Примером служит широко распространенное словосочетание «советский режим». Оно обычно используется в качестве синонима таких терминов, как «советское государство», «советская история» и «социализм»; причем понятие «режим» имеет здесь заведомо отрицательный оттенок. В результате возникает проблема — при использовании этого слова все виды советской жизни сводятся к проявлению государственного насилия. Другим распространенным примером является постоянное использование бинарных оппозиций для описания советской действительности — таких, как подавление и сопротивление, свобода и несвобода, официальная культура и контркультура, официальная экономика и вторая экономика, тоталитарный язык и контръязык, публичная субъектность (*public self*) и частная субъектность (*private self*), реальное поведение и притворство (*dissimulation*) и так далее.

Эта терминология особенно распространена в описаниях советского существования и советского субъекта в западной исто-

риогрaфии, социальных науках, массмедиа и массовой культуре. С начала 1990-х годов она распространилась и в ретроспективных описаниях социализма в бывшем Советском Союзе. Во многих текстах советский субъект, с пренебрежением именуемый *homo sovieticus*, описывается как человек, у которого отсутствует собственная воля. Его участие в советской системе интерпретируется как доказательство того, что либо его заставляли, либо у него отнята способность критически мыслить. Так, в конце 1980-х годов Франсуа Том утверждала, что, поскольку в контексте всепроникающего идеологического языка лингвистические «символы перестают действовать должным образом», мир советского субъекта — это «мир без смысла, без событий и без человечности»*. В конце 1990-х Франк Эллис повторил эту идею еще жестче:

«Если разум, здравый смысл и порядочность слишком часто подвергаются надругательству, человеческая личность калечится, а человеческий рассудок распадается или искажается. Граница между правдой и ложью фактически стирается.... Воспитываясь в подобной атмосфере, испытывая страх и будучи лишенным какой-либо интеллектуальной инициативы, Homo Sovieticus попросту не мог быть ничем иным, как рупором партийных идей и лозунгов. Он был не столько человеком, сколько контейнером (receptacle), который опорожнялся или заполнялся в зависимости от требований партийной политики»**.

Даже если в подобных описаниях допускается, что у советского субъекта имелась независимая воля, голос этого субъекта все равно остается неуслышанным. Подразумевается, что из-за притеснений и страха этот субъект молчит. Например, единственным советским субъектом с независимым голосом, по мнению Джона Янга, является непокорный диссидент, который постоянно «противопоставляет реальные факты официальной фальши». Его истинный голос можно услышать, только когда он общается «за закрытыми дверями с такими же потерявшими надежду друзьями, передавая из рук в руки неразрешенные рукописи или кассетные звукозаписи и пользуясь языком знаков, придуманным из опасения, что квартиру прослушивают спецслужбы»***.

* *Thom F.* Newspeak: The Language of Soviet Communism. London: Claridge Press, 1989. P. 156.

** *Ellis F.* The Media as Social Engineer // Catriona Kelly and David Shepherd (Eds.). Russian Cultural Studies. Oxford University Press, 1998. P. 208.

*** *Young J.* Totalitarian Language: Orwell's Newspeak and its Nazi and Communist Antecedents. Charlottesville: University of Virginia Press, 1991. P. 226.

Если это и крайние примеры описания советского субъекта, они отражают общую тенденцию. В основе этого подхода лежит то, что Тим Митчелл называет упрощенной бинарной моделью власти, согласно которой власть может функционировать только двумя способами — либо *убеждением*, либо *принуждением**. Как уже упоминалось, во многих исследованиях советская культура традиционно делится (по принципу бинарных оппозиций) на официальную и неофициальную, на официоз и андеграунд. Корни такого разделения, как отмечают Уварова и Рогов, уходят в особую идеологию диссидентского круга 1970-х годов, согласно которой достойный внимания текст не мог появиться в официальном советском журнале, а только в самиздате или тамиздате**. Критикуя такое разделение, Уварова и Рогов предлагают вместо него говорить о «подцензурной» и «неподцензурной» культуре, тем самым подчеркивая амбивалентность советского культурного процесса, в котором разделение шло не по признаку принадлежности или непринадлежности государству, а по признаку контролируемости или неконтролируемости (например, среди неподцензурных явлений культуры были и официальные и неофициальные, то же было и среди подцензурных). Однако, как нам кажется, новые термины не решают проблемы бинарных оппозиций — они лишь вводят новый вид деления советской действительности, не учитывая того факта, что множество явлений социалистической культуры состояло из элементов, одновременно стоящих по обе стороны этого разделения. Проблема в том, что идея подцензурности и неподцензурности подразумевает, что идеологические задачи социалистического государства были четко определены, узки, статичны и предсказуемы. Но в действительности многие идеологические задачи были слишком сложны, многоцветны и противоречивы, и их неверно сводить к четкой, черно-белой идеологии. Например, не всегда было четко определено, что является подцензурным, а что таковым не является, или в чем заключается подцензурность. Парадокс в том, что культурное пространство социалистической системы невозможно разделить на две четкие области.

Живучесть моделей, основанных на бинарных оппозициях, в исследовании советской системы частично объясняется особой «расположенностью» (*situatedness*) по отношению к системе как объекту анализа тех, кто занимается этим анализом. Так, по при-

* *Mitchell T.* Everyday Metaphors of Power // *Theory and Society*. 1990. No. 19. P. 545.

** *Уварова И., Рогов К.* Семидесятые: хроника культурной жизни // *Россия / Russia*. 1998. № 1.

чинам, связанным с природой советской системы, значительная доля ее критических исследований производилась и производится за пределами ее пространственных и временных рамок — либо за рубежами советского государства, либо после того, как оно прекратило свое существование. Это означает, что такие исследования проводятся и публикуются в контекстах, которые в политическом, нравственном и культурном смысле заведомо относятся к таким понятиям, как советский субъект или социализм, не нейтрально, а с определенной негативностью. То, что наблюдатель расположен именно в этих контекстах, безусловно, сказывается на его анализе. Рогов, например, показал³, что между дневниками, которые велись советскими людьми в 1970-е годы, и воспоминаниями о советской жизни, которые были написаны в перестройку и после нее, существует огромная разница. Она заключается не просто в авторской манере или языке, а, в первую очередь, в оценке советской действительности (которая проявляется как в явных высказываниях, так и в фоновых, несформулированных послылках). Мемуары, в отличие от дневников, описывают советскую систему и отношение к ней автора в терминах, которые появились уже после распада системы, и тяготеют при этом к гораздо более критической оценке социалистической жизни*. Швейцарский социолингвист Патрик Серио показал на примере множества текстов, что к концу перестройки те, кто писал воспоминания и комментарии о советском прошлом, особенно представители интеллигенции, оказались в новом политическом контексте, в котором необходимо было подчеркивать вновь сформулированную идею о том, что в доперестроечный период их собственный язык никоим образом не смешивался с «языком власти», а, напротив, представлял из себя «пространство свободы, которое они отстаивали в борьбе». Однако, если вновь сравнить мемуары этого времени с материалами более ранних лет, оказывается, что сама модель разделения советского языка на «их» тоталитарный язык и «наш» свободный язык является, в значительной мере, продуктом перестройки или постперестроечных лет**.

Более того, термин «период застоя», ставший сегодня знакомым ярлыком брежневского периода, тоже распространился

* Рогов К. Указ. соч. В качестве примера воспоминаний о советской жизни, опубликованных после ее окончания, см. также: Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 64.

** Seriot P. Officialese and Straight Talk in Socialist Europe // Ideology and System Change in the USSR and East Europe / Ed. M. Urban. New York: St. Martin's Press, 1992. P. 205–206.

лишь к концу горбачевских реформ, то есть через много лет после окончания брежневской эпохи*. По сути, даже само осознание периода с середины 1960-х до начала 1980-х годов (когда Брежнев занимал пост генерального секретаря) как некой «эпохи» с конкретными историческими чертами тоже возникло лишь постфактум, в период перестройки. Согласно Рогову, «в 1970-е у советского человека было довольно смутное представление об исторических координатах его эпохи, значительно более смутное, чем у того же человека в конце 1980-х и в 1990-е годы»**. Критический дискурс перестройки вскрыл множество неизвестных фактов и критически охарактеризовал множество явлений советского прошлого, которые до этого не могли быть публично проанализированы. Однако этот дискурс также способствовал созданию новых мифов о советском прошлом, окрашенных революционными идеями и политическими задачами конца 1980-х. Многие из бинарных оппозиций, используемых сегодня для описания исчезнувшей системы, приобрели значимость именно в революционном контексте конца перестройки.

<...>

Повседневность

Безответственно было бы отрицать, что советская система причинила массу страданий миллионам людей, что она подавляла личность и ограничивала свободы. Это хорошо известный факт. Однако, если мы сведем анализ реально существующего социализма к анализу подавляющей стороны государственной системы, нам не удастся разобраться в вопросах, поставленных в начале книги.

В моделях социализма, основанных на бинарных оппозициях и делающих упор на подавляющей стороне системы, теряется один важный и, казалось бы, парадоксальный факт: значительное число простых советских граждан в доперестроечные годы воспринимало многие реалии повседневной социалистической жизни (образование, работу, круг друзей и знакомых, относительную неважность материальной стороны жизни, заботу о будущем и о других людях, равенство, бескорыстие) как истинные ценности, несмотря на то, что в своей повседневной жизни они подчас нарушали, видоиз-

* Термин застой был создан для обозначения брежневского периода по аналогии с терминами оттепель и перестройка, вошедшими в общественный дискурс значительно раньше его: первый — в 1950-х гг., второй — в середине 1980-х (см.: *Рогов К.* Указ. соч. С. 7).

** *Рогов К.* Указ. соч. С. 7.

меняли или попросту игнорировали многие нормы и правила, установленные партийным государством. Эти простые советские граждане активно наполняли свое существование многочисленными творческими и позитивными смыслами — иногда в соответствии с провозглашенными целями государства, иногда вопреки им, а иногда в форме, которая не укладывалась в бинарную схему «за — против». Эти положительные, творческие, этические стороны жизни были такой же органичной частью социалистической реальности, как и ощущение отчуждения и бессмысленности, которые нередко их сопровождали.

Одной из составляющих сегодняшнего феномена «постсоветской ностальгии»* является тоска не по государственной системе или идеологическим ритуалам, а именно по этим реалиям человеческого существования. Так, по признанию одного философа⁴, сделанному в середине 1990-х годов, только через несколько лет после краха советской системы он стал сознавать, что серость и страх той действительности были неразрывно связаны с реально существующими оптимизмом, теплотой, счастьем, сердечностью, успехами и порядком в «обустроенном привычном пространстве жизни»**. Вторя ему, ленинградский художник и фотограф заметил, что через несколько лет после «крушения коммунизма», которое он воспринял с восторгом, он вдруг почувствовал, что вместе с тем политическим строем из его жизни исчезло и что-то иное, более личное, чистое, исполненное надежды, «безоглядной искренности и подлинности»***. Без критического анализа подобных ощущений, которых сегодня, пожалуй, даже больше, чем в середине 1990-х годов, невозможно разобраться в том, чем же действительно был реальный «ежедневный» социализм для советских людей, как он функционировал и почему его внезапный обвал был настолько неожиданным, а постфактум стал восприниматься как закономерность.

Для анализа этого парадоксального сочетания положительных и отрицательных черт, присущих социалистической действитель-

* Обстоятельный разбор феномена «ностальгии» в постсоциалистический период, а также того, насколько оправдано использование этого обобщающего термина, см.: *Надкарни М., Шевченко О.* Политика ностальгии: сравнительный анализ постсоциалистических практик // *Ab Imperio.* 2004. № 2. См. также: *Boym S.* The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001.

** *Савчук В.* Конец прекрасной эпохи. Монолог философа // Конец прекрасной эпохи. Постскриптум. Каталог выставки / Под ред. Дмитрия Пиликина и Дмитрия Виленского. Санкт-Петербург: Фонд «Свободная Культура», 1995.

*** *Виленский Д.* Свидетели эпохи. Монолог фотографа // Там же.

ности, необходим особый теоретический язык, — язык, который не сводил бы ее к бинарной оппозиции официального и неофициального или к моральным оценкам, уходящим своими корнями в контекст холодной войны. <...>

Данная книга является попыткой найти такой альтернативный историографический язык для анализа социализма — то есть попыткой нащупать социальные, политические и культурные категории, не всегда вписывающиеся в традиционные бинарные модели насилия и сопротивления, и ввести термины для их описания*. Для решения этой непростой задачи необходимо, по возможности, отказаться от аналитического языка, на котором социализм заведомо предстает в упрощенно негативных тонах, не впадая при этом в другую крайность — романтизацию социализма.

<...>

В период позднего социализма идеологический дискурс партии и государства на уровне формы испытал сильнейшую нормализацию и застывание, а на уровне смысла перестал интерпретироваться буквально (в большинстве случаев, хоть и не всегда). Иными словами, этот дискурс перестал функционировать как *идеология*, по крайней мере, в привычном понимании этого термина — как некое описание реальности, которое воспринимается как верное или неверное. Теперь функция этого дискурса была не столько в репрезентации реальности, сколько в воспроизводстве ощущения того, что существующий дискурсивный режим неизменен и не поддается публичному оспариванию. То есть, потеряв в значительной степени функцию идеологии, этот дискурс тем не менее, не потерял функции «авторитетного слова». Для того, чтобы подчеркнуть эту трансформацию в контексте позднего социализма, я буду впредь называть советский дискурс не идеологическим, а *авторитетным* дискурсом.

<...>

Производство новых смыслов

Очевидно, что одним из главных условий функционирования авторитетного дискурса была монополярная власть государства на публичную репрезентацию. Однако всеобщее и повсеместное воспроизводство застывших форм этого дискурса происходило

* Отказ от традиционных бинарных оппозиций при анализе социализма может также обогатить наш критический аппарат для анализа самой капиталистической системы, в которой эти бинарные оппозиции сформулированы, — например, для анализа процессов, сопровождающих сегодня глобальное распространение системы неолиберализма.

не столько из-за этого монопольного контроля и не из-за угрозы наказания, а в первую очередь из-за того, что перформативная составляющая этого дискурса приобрела особую *освобождающую* функцию в повседневной жизни советских людей. Повторение стандартной формы высказываний и ритуалов и относительная неважность их буквального смысла давали возможность участникам этого процесса создавать новые, непредвиденные смыслы, интересы, виды деятельности и типы существования. Чем больше костенела форма авторитетного дискурса, тем активнее шел этот творческий процесс проявления личной *агентности* по отношению к советской повседневности.

<...>

Повсеместное участие советских людей в перформативном воспроизводстве ритуальных актов и выражений авторитетного дискурса способствовало ощущению того, что система монолитна и неизменна, сделав невообразимой саму возможность ее обвала. В то же время это перформативное воспроизводство способствовало появлению новых непредсказуемых идей, смыслов и стилей жизни внутри этой монолитной системы, которые постепенно изменили весь ее дискурсивный режим изнутри. Советская система все более отличалась от того, какой она сама себе казалась (и ее руководству, и простым гражданам). Это сделало систему уязвимой и способной, при определенных условиях, неожиданно развалиться. При этом, повторимся, сама уязвимость системы оставалась невидимой, поскольку не было дискурса, способного ее публично проанализировать.

<...>

Поздний социализм и последнее советское поколение

<...>

Многие из героев этой книги, рассуждая о своем опыте советской жизни, часто ссылались на принадлежность к тому или иному поколению. В России дискурс о поколениях вообще широко распространен. В нем часто сравнивается опыт разных поколений, анализируются преемственность поколений и разница между ними, им даются особые имена, выделяются политические события и культурные явления, определяющие формирование поколенческого опыта, производится отождествление поколения и исторического периода. Как уже говорилось выше, постсталинский период советской истории (с середины 1950-х до середины 1980-х) приобрел особые черты в результате перформативного сдвига в советском авторитетном дискурсе. Эти тридцать лет на-

званы нами *поздним социализмом*. В литературе этот период зачастую делится на два более коротких отрезка времени: *оттепель* (период хрущевских реформ) и *застой* (брежневский период). Символической границей между этими двумя периодами принято считать ввод советских войск в Чехословакию летом 1968 года*. Эти два периода приблизительно соотносятся с двумя поколениями — старшее поколение *шестидесятников* и младшее поколение, именуемое нами *последним советским поколением*.

<...>

Большинство представителей этого поколения в 1970–1980-х годах было комсомольцами, а значит, составляло, пожалуй, наиболее многочисленную группу советских граждан, которая (по крайней мере, в принципе) коллективно участвовала в перформативном воспроизводстве стандартных текстов и ритуалов авторитетного дискурса на местном уровне школ, институтов, заводов и прочих мест, где действовали комсомольские организации. Поскольку брежневский период, в котором они росли, был достаточно долгим и стабильным, они получили богатый опыт конкретного общения с авторитетным дискурсом, в котором перформативный сдвиг смысла играл определяющую роль. Это давало им возможность активно участвовать в создании новых смыслов, интересов, сообществ, форм существования и так далее, даже сохраняя приверженность многим идеалам и ценностям реального социализма, но подчас интерпретируя их иначе и наполняя их иными смыслами, чем это делалось в партийном дискурсе. Именно таким образом участие в воспроизводстве *формы* авторитетного дискурса и давало им возможность избегать многих ограничений и форм контроля со стороны системы, при этом не обязательно активно участвуя в различных формах сопротивления ей.



* См., например: *Страда В.* Указ. соч. С. 11.